

Анатолий Пчелкин

ДУША БОЛИТ

Анатолий Пчелкин

ДУША БОЛИТ

КНИГА СТИХОВ

Магаданское книжное издательство 1979

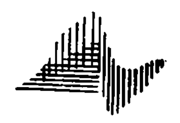
ББК 84 3Р7
П92

П $\frac{0742—020}{М—149(03)—79}$ 18—79



Кто ты,
странник,
у Реки
Жизни?..





Волшебных слов невинная игра,
всплеск радости, отмеченной печалью,
и пот, и кровь, и встречные ветра —
все это правда, ложь или мура?
Не ведаю.
И лишь души не чаю,
чтоб не зияла черная дыра
меж тем, что я отстаивал вчера,
и тем,
что я сегодня
защищаю.

Реки таежной шорох тихий,
полет неспешного орла,
земля, объятая брусникой,
как пламенем.
                    Сиди, пиликай
и жизни радуйся великой,
что чередою многоликой
здесь испокон веков
текла.

Но где ты был в ее начале,
когда угрюмые валы
ковчеги пращуров качали,
положим,
            вон у той скалы
и столь же лютые орлы
их с тем же клекотом
встречали?

Где был ты в середине лет,
когда иные поколенья
пришли сюда,
                    чьи поселенья
доселе ищет Новый Свет,
а их следов
простыл и след?

И вот еще одну эпоху
где ж отсиделся ты, ей-богу,

кем увлечен,
чем занят был,
покамест прадеды баские
все шли и шли на край России,
царю с министрами
                                        челом
бия о будущем
твоем?

Пласт новый — и не шевели!
Ведь разговор не с сыном века,
а с вечной сутью
                                    человека —
кровинки матери-Земли.

Итак,
          и все-таки
                              ответь мне:
что все же сделал ты
на свете,
на что надеется,
                                  спеша
вслед песне ль,
за полушкой медной
или за должностью победной,
твоя свободпая
душа?..



Как свободно, как просторно стало разом на земле!
Вот хожу я во все стороны по лету и зиме,
как по собственной светлице, —
лишь простором полон взгляд,
да уютно половицы под ногами не скрипят.

Но зато скрипят метели да бураны — ух белы! —
да поскрипывают лиственниц червленые стволы,
да костей моих уключины покрякивают зло,
всем премудростям обочины обучены зело.

О природа, моя матушка, работать мне вели,
строить храмы и хоромы на Устюге и Нерли,
пробиваться вдоль Сибири, вдоль истории самой,
чтобы дети полюбили,
дабы внуки не забыли
да ракеты
в клубах пыли
все бы плыли
надо мной...



Позади —
дорога дальняя,
а что там впереди?..
Молоточек ожидания
колотится в груди.

И уже все глуше светится
в памяти
наискосок
полукружьем светла месяца
мамин беленький платок.

Но сквозь толщу отлетающих
верст
все ближе, горячей
свет ее
не укоряющих —
позволяющих очей.

Так
за зимами и веснами
годы долгие и дни
и останутся
разверстыми
в твоей памяти они,

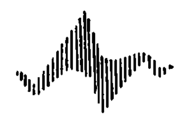
вопрошая и советуя,
отпуская и моля...

Словно Родина советская,
мама щедрая
моя.

Понимает, знает, мается
и прощается — а ждет.
А случись...
Не сомневается:
сын ее
не подведет.

Эта жертвенность упрямая
в душах наших матерей
исторически
оправдана
всей судьбой страны моей.

Не на ней ли Русь и держится,
и не ею ли сильны
величавого Отечества
материнские
сыны?!



Я задую в тайге небольшой костерок,
чтоб медведя и волка в пути остерег
от ружья моего.
                    От объятий моих,
чтобы загодя он
отговаривал их.

Темнота у костра встанет плотной стеной
так, что можно в нее упереться спиной
и шептать до утра, до зари над рекой:
— Да святится Земля.
Да святится Огонь.

Да святится огонь, согревающий нас!
Да святится огонь, пребывающий в нас!
Полагаю,
              что не было б в мире меня
без людского тепла
и земного
огня...

КОСТЕР

Осенней ночью
среди гор
в испоконвечном шуме леса
одно свидетельство прогресса
и то прадедова:
костер.

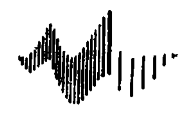
Глазок огня
                    издалека
увидишь — и похолодеешь,
оттаешь,
и помолодеешь,
и ощутишь наверняка,

что не один ты.
                    Не один! —
под крышей гулкого пространства
носитель детства и седин,
неверности
и постоянства.

Что кто-то там
                    еще, еще —
живой-таки! —
во мраке ночи
или рыдает горячо,
или безудержно хохочет.

Он помощи твоей
не ждет.

Но надо ж было так случиться,
что вдруг ты вспомнил:
жизнь идет,
и это — счастье:
длиться,
длиться,
к стволу спиною прислониться,
и плакать,
Родину любя,
и жить,
и чувствовать себя!

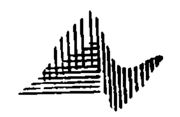


В горах,
за тридевять земель
от суеты досужих сплетен,
усильем воли, а сумей
понять, что мир
великолепен.

Из глубины седой тайги
окинь потери и уроны
и вдруг поймешь:
твои враги,
как среди певчих птиц вороны,
всего лишь каверзы природы,
незлые выверты судьбы.

А жизнь просторна и вольна.
И этот лес,
и эти горы —
твоя любовь,
твоя страна,
и нет надежнее
опоры.

И новой песнею дыша,
чуть не усопшая до срока,
забьется грозно
и широко
освобожденная
душа!



Тружусь,
усталости не зная,
легко и радостно,
                    пока
глазам открыта даль сквозная,
а слуху — лепет ручейка.

Пока,
скитаясь неразлучно
с дождем и облачком в окне,
душа и Северу созвучна,
и дальней южной
стороне,

и всей стране —
с ее делами
и вдохновенными людьми,
в Нечерноземье,
и на БАМе,
и на просторах Колымы.

О дни веселого порыва,
когда волнуя и страша,
как полоумная —
                    с обрыва
не вниз, а вверх
летит душа,

волнуясь встречному потоку
людских надежд
                    и новостей,
и нет конца ее восторгу,
как нет стеснения простору
и края нет
страны
моей.

СТРОКА

Строку,
подобранную в поле,
вдали от типографских крыш,
раз десять взвесишь поневоле,
пока в рюкзак
определишь.

Иная кажется и строгой,
на слух приятной и на вкус.
А все-таки
перед дорогой
прикинешь...— нет,
ненужный груз.

Пока не повергает в трепет
и не врачует горе, боль,—
пусть полежит в земле.
Окрепнет —
придет на ум
сама собой.

Мой сын —
пусть средствами иными —
найдет ее,
коль суждена.
Вот только б соками земными
скорей
наполнилась
она.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Мослами, как шарнирами, стуча,
чуть свет — нескладный — я уйду из дома
и выдержу нагрузку тягача,
лишь будь на то
молчанье приискома.

Ни радости, ни горя, ни беды.
Как будто я один на этом свете —
в болотниках, в промасленном берете,
средь неба, леса, золота, воды

и певчих птиц. Но слышу ли я их?
Когда
через посредство жил своих
всего себя в свой труд переливаешь,—
поди, о том и думать забываешь.
А отдых — что ж,
он только сладкий миг.

Лопату брошу. Кинусь на траву —
бревно бревном. И только лишь глазами
восторженно вбирая синеву,
минуту-две
не то рекой плыву,
не то и впрямь
парю под небесами.

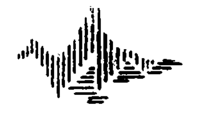
Но загремит бульдозерный отвал,
вздохнет вода и ринется в колоду —

и в мире грез как будто не бывал
я сроду.

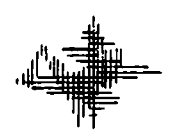
И вновь накал неслыханной страды,
той, что зовут в газетах — золотою.
Рев техники. Рычание воды.
Рабочий гром породы и руды
взрывают благолепие среды,
в которой сам я
так немного стою.

Не до красот. Идя на полигон,
я сердцем принял тот закон священный:
вдохнув огонь —
и выдохни огонь,
в физические силы превращенный.

Но к вечеру
уж я ни жив, ни мертв.
— До завтрака? — в углу смеется Петр.
— До завтра...



...Но так же,
как из года в год
заря за окнами встает,
как лес корнями шевелит,
как по утрам спешит народ
стуча скорлупками калит,
как не стареет неба свод, —
так по ночам
(не первый год!)
душа болит,
душа болит.



В. А-ву

Не ходи тропой лесною,
безоружный человек.
Там,
    за елью и сосною,
тишина стоит стеною,
повернешься к ней спиною,
зазеваешься —
навек.

У таежной глухомани
нрав и скорый и крутой.
Елки. Волки. Лес густой.
Нет оружия в кармане —
значит, зубы приготовь.

И доколе сам съедобен —
думай, стоит ли смотреть:
человеко ли подобен,
травояден ли
медведь.

На веку своем немалом
попадешь еще не раз
в лапы лести и обмана
и в проем
зловещих глаз.

И не смейся надо мною,
на земле тревожный век.
Не шути с тропой лесною,
милый
смелый
человек!



Я жил безоглядно и юно,
с восторгом вбирая в себя
и знойные краски июня,
и звонкую даль сентября.

Студеные майские воды,
и стужа январского дня,
и все —
и любые погоды,
причуды и чуда природы
в те дальние сладкие годы
лишь петь побуждали меня.

И мнилось мне:
это — навеки,
и сам я пребуду вовек,
единственный, может, на свете
крылатой судьбы
человек.

И думалось,
что бескорыстно
дано мне, как божья печать,
серебряной песней горниста
рассветные зори
встречать.

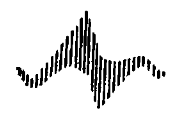
Не ведаю,
что приключилось,

но знаю: произошло.
И то, что мне крыльями мнилось,
что ранее к небу влекло,
то лямками
в плечи
вдавилось,
сомнением в сердце
вросло.

И лишь предвкушение слова,
вскипающего в груди,
хотя и тревожней былого,
а все же и юно и ново.
И выхода нет мне иного.
И жизнь еще вся
впереди.

КРИЗИС

Пока я не писал стихов,
осень сменила лето.
Здание выросло в центре поселка,
пока я не писал стихов.
Пока я не писал стихов,
сестра моя родила сына,
батя ушел на пенсию,
а моего лучшего друга
избрали ответственным секретарем.
Целый год я не писал стихов!
И не умер...
Если не писать еще год —
друг мой развалит организацию
и, может быть, примется за другую.
Отец подыщет побочный заработок,
а сестра
родит мне второго племянника.
Дом,
в котором я так мечтал
получить трехкомнатную квартиру,
потребует капремонта.
Лишь осень
все так же стремительно
будет клониться
к зиме.
Никто
не заметит моей трагедии.



Всеядны, мелочны, капризны,
мы редко думаем о жизни —
то лень, то некогда. Спешим.

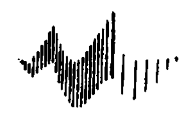
На узловых ее вокзалах
тем и походим на козявок,
что мелкодумьем мельтешим.

Порой и вспомнишь, встрепенешься,
да уж обратно не вернешься —
из виду скрылся паровоз.

Вздохнешь в уме. Мозгой раскинешь:
да ладно, мол. Еще не финиш,
успею как-нибудь. Авось!

А жизнь добра. Она не мстит нам.
— Живите, братцы, с аппетитом! —
смеется вслед. Но на вопрос

о том, что есть она, что значит,—
в купе за рюмкой не судачат,
а молча думают. Всерьез.



Лоснясь от антикомарина,
махрой под облаки дыша,
как ты черства непоправимо,
моя дремучая
душа.

Познав коварство и измену,
избыток впитанного зла
ты продаешь за ту же цену,
по коей
и приобрела.

Ты стала алчнее и глуше
и осмотрительней в борьбе.
Но необстрелянные души
еще вверяются
тебе.

А ты,
        ища от них спасенья,
себя оправдываешь тем,
что посещают
угрызенья
твою полночную сутемь.

НА ОСТРОВЕ ЗАЛЕДЕНЕЛОМ

На острове заледенелом,
в версте от хижины моей,
как бы музейный парабеллум,
коса лежала,
                    тонким телом
служа к тому ж
водоразделом
меж двух арктических морей.

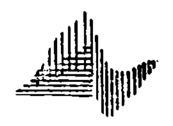
И задавался я вопросом,
что ж тут обязано чему:
тем двум течениям —
                              мыс Блоссом
иль, может быть,
они — ему?

Намыт ли мыс двумя морями,
иль древности седой старик,
воюя с алчными струями,
через моря, пускай с боями,
а шел-таки
на материк?

И думалось:
а в человеке,
в моей натуре и судьбе
что зла извне наносят реки,
а что я сам
размыл в себе?

Кто вообще ответить может,
в чем сам виновен,
где его
былые шалости итожит
теченье рока
самого?..

И зиму долгую
сжимала
боль грудь мою. И снилось мне,
что правда —
вот она! —
лежала
у ног моих.
На глубине.



Заметелит снег дороги.
Реки холод закует.
Тихо-тихо станет. Вроде,
дух из города уйдет.

Продышу в окне кружочек,
погляжу на белый свет
и отпряну вдруг. Уж очень
ни души в нем больше нет.

Словно улицы уснули,
будто вымерзли дворы,
и молчат дома, как ульи,
и снаружи и внутри.

Мир и впрямь —
как на ладони.
Но покоя тишине
нет ни в городе, ни в доме,
ни в квартире,
ни во мне...

БУРЯ

Все доедено, допито,
пусто в доме и темно,
а уснуть не суждено:
ветер ломится сердито —
черный — в черное окно.

Не приблудный, не случайный —
еженощный, штормовой.
То задумчиво печальный,
то конечно-изначальный,
то пустынно-громовой.

Ах ты, боже мой! Какая
скука. Ненависть. Тоска.
Как последнего трамвая
ждешь, скуля и завывая,
ждешь в отчаянии, зная:
не придет наверняка.

Не придет. Пути закрыты.
Не приедет. Нет его.
Волны памяти изрыты
временем. И гвозди вбиты
в двери мира твоего.

Что ж, трави себя, таращи
зенки страшные во тьму.
Все — актерство. Эти страсти

потеряли силу власти
над пространством. Ни к чему

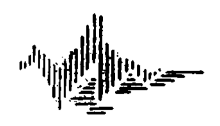
привести уже не в силах
в прошлом
благородный гнев.
Заживо окаменев,
умертвил он в твоих жилах
жизни жертвенный напев.

И осталось... Что осталось?
Неразбавленная желчь,
неоправданная ярость —
как грохочущая жесть.
Но у той хоть повод есть!

Ветер, ветер. Ночь и стены.
Жизнь не чья-нибудь — своя.
Но картинно в грудь бия,
плачешь ты не от измены —
от отсутствия ея.

Ну, а мир —
в нем все, как было —
поровну добра и зла...

Буря. Полночь. Не до сна.
Ставень хлопает уныло
в переплет окна.



Над лесом сгущаются тишь и мгла.
Осколок луны заглядывает в зимовье.
И сладкие волны
горечи и тепла,
как лодку, раскачивают
сердце мое.

Тишь, это ты. Мгла — я.
Осколок луны — надежда моя,
над лесом жизни вечный знак высоты.
Тишь, это я. Мгла — ты.

В избушке темно. Холодна стена.
В железной печурке невидное пламя гудит.
Была — жена.
Остался —
сгусток обид.

Осталась дорога в немеренном этом лесу,
дорога по звездам под яркой подковой луны.
Но мгла, что оставила ты
и которую я несу,—
не глуше, не гуще
лежащей под сердцем моим
тишины.



Первый снег и дым костра.
Медленны,
            светлы,
                        беззвучны,
превращаются с утра
тот из туч,
а этот — в тучи.

Праздничный круговорот
животворных сил природы
радует из года в год
человека
и народы.

Я гляжу — не нагляжусь,
я дышу — не надышусь,
словно сам из дыма в облако
сейчас
преображусь.

А потом вернусь, как снег,
в круг таежников уставших,
и один из них
                        вдруг скажет:
— Вот и осень.
Вот и снег.
Здравствуй,
                добрый человек!..

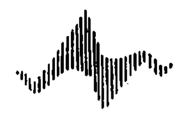


К твоему прислоняясь плечу,
сам не знаю, чего я хочу:
стать тобой, оставаясь собою?
Быть собой?
Но твоею судьбою

я, как зритель, уже увлечен,
как двоюродный брат, озабочен...
Ты напрасно играешь плечом,
и смеешься ты зря,
между прочим.

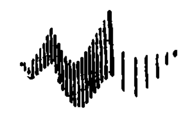
Я не верю в веселость твою.
Эта маска — туманна, как Вега.
Но под ней я легко узнаю
боль земного, как все,
человека.

И когда ты уходишь с другим,
хохотнув на прощанье игриво,
не тебя обвиняю,
а — грим,
с содроганием слыша за ним
крик души
у обрыва.



Просыпаюсь, как ранняя птица,
песней утренней клюв полоща.
Удивленная речка искрится.
И разбуженный лес шевелится.
А твой шепот
мне все еще снится,
словно льдом, обжигая плечá.

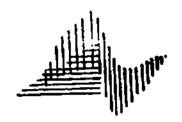
Просветленной встряхну головою —
дескать, жизнь без тебя хороша!
А потом,
в тишине шалаша,
буду слушать с надеждой и болью,
как, едва получившая волю,
по неволе
томится
душа...



Песня без имени-отчества,
тихий мираж души, —
хочется Вашего общества
в этой лесной
глуши.

Месяцы отдаления,
год врачеванья уз...
Вашего
появления
жду — и его боюсь.

В этой тоске по случаю
встретиться и любить
и заключается лучшее.
Лучшее.
Может быть...

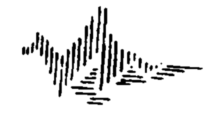


Трудиться ль устала природа,
терпенье ль ее истекло,
а лето минувшего года
так мало тепла принесло.

Но пуще отсутствия зноя,
нехватки земного огня,
молчание женщины злое
изматывало
меня.

А сердцу не верилось в это,
и, словно заведено:
«Какое холодное лето!» —
упрямо твердило оно.

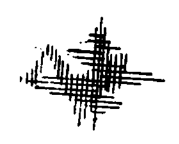
Лишь осенью поздней
уныло
одумалось, отлегло:
«Холодное лето,
а — было
и жаль,
что так рано
ушло...»



Милая меня не понимает.
Что ни строю — все она ломает.
Замок ли воздушный возведу,
сказку ли придумаю из света —
все она разрушит,
на ходу
бросив лишь:
«Да глупости все это!..»

Горечью
не полнится душа,
я уже привык и не перечу.
Что построю за ночь, чуть дыша,
то наутро вынесу навстречу:
— Рушь, моя любимая,
круши!..

Но она и рушит
без души.



Уйдешь —
и я едва дышу.
Но мысль —
спасительно —
навстречу:
— Крепись. Я книгу напишу.
Хоть боль твою
увековечу.

А ночь полярная
длинна.
А мысль следит за мною взглядом...
Как ни кощунственна она,
но нет спасительнее
рядом.

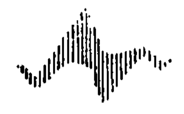
И погружаясь в забытье,
спасаясь
от противоречий,
я сладко слушаю
ее
неутешающие речи.



Р. П.

Мы с тобой
живем, как на вокзале.
Судорожный, спешный неуют.
Все слова прощальные сказали,
а состава
всё не подают.

И не прекращается кружение
дней и дел.
Зима глядит в окно.
Сверстники уехали давно.
Но не возрастает напряжение,
а и не снимается
оно.



Ты от стаи не отбилась, не ушла,
просто — ранена средь бела дня была
и растерянно, испуганно, светло
прямо с неба мне упала под крыло.

Что ж, тебя уже за то я полюбил,
что и сам я браконьером ранен был,
что, в тревоге через озеро гребя,
понимал, как тяжело мне без тебя.

А когда прошла зима, сошли ручьи
и разгладил я все перышки твои,
над землею, необъятна и чиста,
вновь пальбою омрачилась высота.

Что ж, пускай палят во гневе и во зле.
Браконьерства еще много на земле.
Пролететь с осенней песней над землей
хватит сил
и хватит крыльев
нам с тобой.



Я б описал свою любовь
в стихах к тебе.
У нас — суббота.
И снег уже. И вся — работа.
Но мозг одна терзает боль,
единый страх:
                    а вдруг с тобой
там вдалеке
случилось что-то?..



Падает снег.
Тает.
Гоняем чаи.
Молчим.
Золота не хватает,
лето было
плохим.

Простуженно и тягуче
все месяцы,
как назло,
набрякшие снегом тучи
над сопками
волокло.

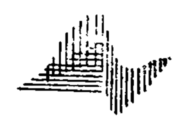
Вода в желобах стыла,
даль грезила о тепле...
Солнышка
                не хватило
озяблой моей
земле.

А сколько людей вставало?
А техники?
                Без числа!
Объемы-то отдавала,
золота
не дала.

Но схлынуло напряжение,
вот и остряк
молчит.
Горько от поражения.
Дым костерка горчит.

Никто и не протестует,
всяк думает:
«Погоди,
то ли еще
будет?
Главное — впереди.

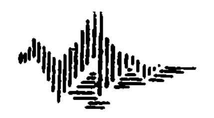
Вслушайся —
не заметил? —
в скалах, среди камней,
охает мерзлый ветер
день ото дня
слышней...»



То снег, то дождь. Тайга. Трясина.
Чаи у долгого костра.
Валюсь под вечер,
как лесина,
и умираю. До утра.

А там опять
лопату в руки,
и — лейся, золото, рекой!
И никакой тебе науки,
литературы
никакой.

Но и со мной непримирима,
и неприступная извне
тоска по совершенству мира
и здесь дышать
мешает
мне.



А. Ч-ко

Когда б тревога улеглась
и мертвый час настал
в душе моей,—
                    кому во власть
ее бы я отдал

на разграбление, разбой?..
Ах, чья бы ни взяла!
Но жить в себе
сама собой
она бы не смогла.

Душа моя,
осенний лист,
на всех ветрах дрожа,
оставь смятение,
дождись
последнего дождя,

все беды мира искупя
одною смертью враз,—
лети,
      лети,
            пока тебя
не втаптывают
в грязь.

ЗАКРЫТЫЙ ПОВОРОТ

Я шел — не горевал,
с дорогой говорил,
неблизкий перевал
меня к себе
манил.

Счастливо и светло —
все выше,
к небесам.
А что меня влекло,
не ведал я и сам.

Взошел —
и хорошо,
и пой себе.
Но в путь
я под гору пошел,
забыв передохнуть.

Лишь ахнул:
«Погоди!»,
невольно сбавив ход,
увидев впереди
закрытый поворот.

Как плачут тормоза —
враставший в них
поймет!

Но там стоять
нельзя:
закрытый поворот.

Там слева гор стена,
спра...—
оторопь берет!
Обгона нет, и на-
до двигаться вперед.

Пусть не на волоске,
а все же,
как в трубе,
заранее в тоске
по самому себе.

Ну что же, брат?
Тоска —
не худшее из чувств.
Жива она пока —
и жизнь острей
на вкус.

В ней страх и ночевал,
а все ж она — чиста...
Прощай,
мой перевал
в беспечные лета!

Сожмись, душа, в кулак,
налейся кровью, боль.
Уж нам нельзя никак
расслабиться
с тобой.

Как ни опасен спуск
и как ни клонит в сон, —
души полезный груз
мы к цели
довезем.

Но помни, в свой черед,
отныне до конца
закрытый поворот
с тобой —
глаза в глаза.



Чтоб от счастья засияло
просветленное лицо,
человеку нужно
                    мало,
а поэту надо
всё.

Не из рога изобилья,
не для собственных утех,
не для творческого пыла,
а вот именно —
                    чтоб было
всё!
    И всюду.
            И для всех.



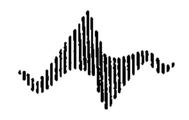
О незабвенный Брут!..
Жил-был при друге
враг.
А тот полагал, что друг,
и верил ему,
дурак.

Замкнутый этот круг,
словно неравный брак:
душу откроет друг —
потопчется в ней
враг.

А глупому
не в урок,
работает знай за двух.
И ходит в его мирок
перевести дух,

преодолеть страх,
перехватить руб
злейший его
враг
по имени Лучший Друг.

Такие вот пироги,
родные мои
враги.



В том городе,
где столько неуюта,
где что ни шаг — мышиная возня,
я тоже, может, досадил кому-то,
как этот кто-то
надсадил
меня.

И потому-то
совести мученья
терзают ум. Ведь знаю, что ни дня
я жить не мог без этого общенья,
а он не видел
жизни
без меня.



Остынет август. Лето отойдет.
И осень золотая отпылает.
Глядишь —
тайга уже метелей ждет,
а все душа
чего-то ожидает.

И вроде нет причины для тоски,
тем более для позы и кокетства,
но — съежится
и слушает толчки
тревожно нарастающего сердца.

И лишь с последним клином журавлей,
уж и не видных за стеною снега,
вдруг ахнет грусть
по золоту полей,
по облакам украинского неба.

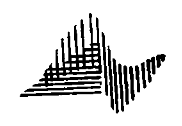
Не по годам,
что прожиты в краю,
столь сложном для лирической работы,
а просто —
вспомнишь родину свою
и что она не знает:
где ты, кто ты?

И что с тобой?
Доволен ли житьем,

добром ли вспоминаешь отчи веси?..
У ней,
        над золотеющим жнивьем,
свои теперь
волненья, интересы.

Она других мечтателей растит,
не думая, не ведая, не зная,
что часть из них
сейчас уже грустит
по лиственницам северного края,

по этим холодеющим снегам
и душу раздирающим просторам,
что им пока
                известны
                            по стихам,
а я приписан
намертво
к которым.



А. Ф. Мартыненко

Где б ни жил я,
                    в краю каком,—
из памяти неизгладимы
степей провальских окоем,
горячий ветер
Украины.

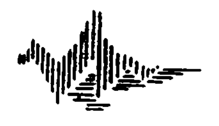
Там с трапа лайнера сходя
раз в год
            (какими ни судьбами!),
я слезы теплого дождя
ловил ребячливо
губами.

И обнимал былых друзей
восторженно,
                    а и печально,
бег времени в судьбе своей
по их сединам
отмечая.

Необоримый бег годов
душа объять
                    не в силах разом.
Его я чувствовал потом
по их делам,
по их рассказам,

по той серьезности в очах
и нерастраченному пылу,
что, впрочём,
                    зрелости подчас
уже не всякой
и под силу.

И гордость друга
                    за друзей,
с кем юность крепла и мужала,
в душе моей,
                    в душе моей
слова для песни
обретала.



В этом крохотном доме
по Мичурина, 7,
было что-то и кроме
крыши,
          окон
                    и стен.
И не хуже, не лучше,
как на то ни смотри.
Просто
          все не снаружи
было,
а изнутри.

А теперь я приезжий,
я прохожий теперь.
И никто в нем, как прежде,
не откроет мне дверь.
Не сбежит на крылечко,
возбужденно звеня,
одноклассница Светка,
чтобы встретить
меня.
В стенгазету заметки
не обсудим мы с ней,
потому что
                    у Светки
целый взвод сыновей,
две красавицы дочки,

загляденье зятья.
Редколлегия,
в общем,
у Светланки
своя.

Вот тропа и калитка,
а за ней — палисад.
Прошлогодние листья
под ногами шуршат.
Но несмело от ветра
стыну я у ворот,
ибо Шпачкина Светка
здесь давно не живет.

Хохотушка,
светило
моей первой любви
раньше нас укатила
строить ГЭС на Оби,
и за нею
по свету
разлетелся весь класс,
ибо Шпачкиной этой
бредил каждый
из нас.

О апрельское утро,
влажный ветер в лицо!
Изречение мудро:
«Время вылечит
все:
и обиды, и боли,
и ушибы, и сглаз...»

Лишь от первой любови,
видно, нету
лекарств.

И остыла, а греет,
зажила, а саднит.
И сама не стареет,
а и нас
молодит.
Пусть не пламя по жилам,
в серебре голова, —
детство в памяти
живо,
юность в сердце
жива!

УРОК ДОВЕРИЯ

А. Бирюкову

В тринадцать лет, задолго до стихов,
что так потом испортят мою кровь
и превратятся в злостную привычку,
совхоз доверил мне быков,
ярмо с налыгачем
и бричку.

А был я на деревне — городским.
Живых волов не видевший ни разу,
с какого боку подступиться к ним,
сообразил, увы,
не сразу.

А вот задачу понял слишком в лоб.
В передовые сразу выйти чтоб,
я плетку взял в воинственную руку,
и свистнул я, и, гордо крикнув: «Цоб!»,
перетянул быка
по крупу.

Но то и был — тактический провал.
Волы меня открыто невзлюбили.
Как с ними я потом ни воевал,
чем самолюбье их ни врачевал,—
«цоб» и «цобе»
они забыли.

От горя почернев на той войне,
зареванный и взмыленный, как в бане,

к обеду засыпал я на стерне,
шепча волам проклятия во сне,
пока не приходил комбайнер
на выручку волам
и мне.

А дядька брал не криком, не дубьем.
Он с ними говорил о том о сем,
и пел, и морды теплые их гладил,
чему-то улыбался, а потом,
соломой к шкворню пук цветов приладив,
«Ну, вот»,—вздыхал. И вот они втроем,
глядишь, — пошли.
И так три раза на день.

Урок был впрок. Поэзия моя,
как вол, глуха к методике битья.
Я жизнь кнутом в стихи не загоняю.
И боль не сочиняю. Ибо я
всегда пишу о том, что лично знаю.
А труд свой
и без плетки
знаю я.

СВЕРСТНИКАМ

Нас война обошла стороной.
Безотцовщиной мы не бывали.
Нас от голода
всею страной
все живые отцы укрывали.

В дни разрухи и в годы, пока
вся страна восходила из пепла,
обжигающей стали станка
не касалась ребячья рука...
Отчего же в нас мужество
крепло?

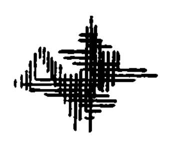
Почему,
из обласканных нас,
вырастали ребята что надо?!
Мы сильны.
И честны.
Это правда.
Но еще не спрессована в наст,
мои сверстники,
наша плеяда.

Мы еще,
как невыпавший снег,
над простором Отчизны нависли,
и связующей боли
в нас нет,

чтоб скрепить
наши верные мысли.

Все заемное, все с кондачка,
все — поймите! —
дареное, братцы...
Но какие,
какие снега
высоко над Россией клубятся!

В них надежда засеянных нив,
в них уверенность пахарей славных,
что они полегли,
заслонив
тех, кто честью и памятью жив
на ведущих дорогах
державных.



Б. М. Рубину

В столичном чинном ресторане,
средь госпитальной белизны
пьют за Победу ветераны
ушедшей в прошлое
войны.

И с шумной радостью пьянея,
живые
открывают вновь,
что не становится слабее
ни водка русская,
ни кровь,

ни дружба, ею политая,
ни даже память,
хоть года
летят, с лица земли сметая
всех без разбору. И сюда,

где не слышны аплодисменты
и эхо выспренних речей,
их собирается все меньше.
Все меньше их.
Но тем звончей,

переворачивая душу
невозмутимой тишины,

они поют свою «Катюшу»
за всех,
с кем вынесли и стужу
и пламя смертное войны.

А я их слушаю и плачу.
И счастлив я,
что в этот миг
волненья чистого не прячу
от однокашников моих.

Но парни,
глаз поднять не смея
от полноты высоких чувств,
уже сдвигаются
плотнее
плечом к плечу,
плечом к плечу.



На излете ли, в зените,
где б ни выпал мой черед,
вы уж маму сохраните.
А отец...—
переживет.

И не то чтоб он суровей
иль не родственных кровей.
На его законной крови
двое вышло
сыновей.

Перед миром, перед людом
светом собственных седин
и любить его
мы любим,
и в обиду
не дадим.

Но уж если дело примет
неизбежный оборот,
вы скажите. Он не вскрикнет.
Все он правильно
поймет.

Сын простой земной науки —
русской каши с молоком,
знал телесные он муки

и с душевными
знаком.

Да не проклял край свой отчий,
где на нем,
что было сил,
век жестокий, век рабочий
воду
    бочками
            возил.

У сынов — его закалка,
от труда не прячем плеч.
Надо Родине —
                не жалко
за нее и в землю лечь.

Лечь за брата,
лечь за друга,
ибо тем и жизнь красна.
Лишь боюсь,
            чтобы она
не для выспреннего звука
оказалась
отдана.

Но какая б ни причина,
сообщите все
            ему.
Батя все-таки
мужчина.
Знает батя
          что
            к чему!..

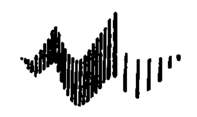
ТРЕВОГА

Учебные сборы.
                    Тревога!
В минуту — обут и одет.
Спешу и волнуюсь немного,
но полной серьезности
нет.

И знаю,
что это не шутка,
что вызов, быть может, всерьез.
А все же, глядите,—
не жутко.
Жена провожает без слез.

Рука ее тянется к спицам,
но, якобы увлечена,
с улыбкою
и любопытством
следит за супругом она.

— Ни пуха! — кивает мне.
— К черту!..
И лишь погружаясь во тьму,
подумаю мельком:
                    «А ну,
вот так вот — уйдешь на учебу,
а выйдет,
          что шел
                    на войну...»



Меня забыли те глаза,
что подожгли меня однажды.
А мне без них
уже нельзя
жить, не испытывая жажды.
Меня забыли губы той,
кто родниковой чистотой
мое дыхание поила.
За осязаемой чертой
то было.
И слух ее
к моим словам,
доверенным и ей и вам,
написанным, а не звучащим,
отныне глух и безучастен.
Чего ж мне нужно от нее?
В какую даль я разогнался?
Неужто мало
воронье
клевало наши разногласья?
Чего ж еще?
Но и во сне
и наяву порой бледнею,
увидев лучик на стене:
она бежит,
                бежит ко мне
и я лечу,
            лечу
                за нею...

НЕ ПОЗОВИ

Ты не сумела меня сохранить.
Слишком был короток путь,
стоило взглядом тебя поманить,
руку к тебе протянуть.

В снежную даль, в ледяные края
светом бы ты пролилась.
Знать, неоплатная щедрость твоя
и лихорадила нас.

Что это? Страх высоты, простоты
или беспечность юнца?
Я или ты, я или ты
стали началом конца?

В час покаянья, сиротство кляня,
нынче уж знаю: вовек
я у тебя, ты у меня —
самый родной человек.

Но и во имя прежней любви
в ближнем и дальнем году
не позови меня,
                    не позови,
я все равно
не приду.

ВСТРЕЧА
Фрагмент

...А на пороге вечера
она взбежала весело
на хрусткое крыльцо.
Спешила и не верила —
самой себе не верила! —
пока к лицу лицо

не встретились. И охнула,
едва осилив стон:
заместо ясна сокола
стоял мужчина около —
и ясный, да не он.

Знакомый, милый, чаянный,
желанный час назад,
любимый, всепрощаемый,
как взмах руки прощальный,
он отводил печальный
отсутствующий взгляд.

Печатью лет отмечена,
уж и сама в летах,
«Чудак,—
шептала женщина,—
воистину чудак.

А я глаза проплакала,
все день и ночь ждала.

Дубинушкою
ласково
в душе тебя звала.

А как узнала новости,
решила: так и быть.
И замуж вышла вскорости,—
ах, только бы забыть!

Но всей сердечной силою,
за то, что развела,
нечистую,
счастливую,
ее я прокляла.

По злу просила господа:
пошли ты ей — молю! —
заместо сына —
аспида,
а дочери — змею.

За все мои нескладности,
за горе, за нужду
не дай ты им
ни радости,
ни счастья на роду!..»

О нравы деревенские,
о женские права!
Я верю в эти веские
высокие
слова.

В их жгучей откровенности
наигранности нет.

То воет омут верности,
то преданности
свет

орет в душе обиженной
и голосит в крови
над прахом напрочь выжженной
возвышенной
любви...

В ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ ТВОЕМ

Мы пили темное вино
и были счастливы.
Как ныне,
в полураскрытое окно
влетали бабочки ночные.

Струился дальних фонарей
чуть слышный свет.
И звезд мерцанье
все радостнее и острей
владело нашими сердцами.

Далёко,
в поле,
за окном
пылил и пел аэродром
земным заботам на потребу.
А мы,
под гул его и гром,
в высотном здании твоем
всех смертных ближе были
к небу!

Над той минутой высоты
и предвкушения полета
не властны времени пласты,
и ржавчина,
и позолота.

Но высотою изумив,
та ночь прошла,
родив тревогу,
что с ней
ступили мы на миг
на Леты звездную дорогу

и что мы шли по ней
вдвоем,
а прочее
нас не касалось...

Но каждый думал
о своем,
как много позже
оказалось.



Ты со мною говори откровенно.
Полюбила другого, наверно,
может, им ты и бредишь во сне?
Допускаю, мой друг. Ну и что же?
Даже в случае этом — о боже! —
все равно с тобой радостно мне.

Я не знаю, как люди другие
и что ревность их значит для них.
Я смотрю на тебя, как впервые.
Что ж ты прячешь свои огневые
до упрека в печальных моих?

Мы расстанемся снова, я знаю.
В тесной клетке не жизнь соловью.
Но и впредь, я тебя заклинаю,
об одном тебя только молю,—
не смущает пусть душу твою
то, что я о тебе
вспоминаю
в том неласковом
нашем
краю.



Стройна, лукава, шаловлива,
огонь в очах, но молчалива,
вся — страсть внутри, а все ж тиха,
в шелках до пят, а все ж нагая,
волнующая такая,
еще не грех, но тень греха,

загадочна, необъяснимо
живая, проплываешь мимо —
веков гомеровых ладья,
и грудь, высокая как парус,
вздымается, и пышет ярость
в колоколах ее. И я,

разбуженно, развороšенно,
как храм, органом оглушенный,
незряч по середине дня,
стою, возвышенный и жалкий,
и страсти,
черные, как галки,
летят
в испуге
из меня!

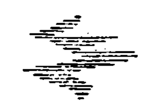


Встретились. И замерли. И вздрогнули.
Словно током воздух обожгло,
будто бы лавину с места стронули,—
охнули сердца их тяжело.

И свело в волнении дыхание,
ясные расширило зрачки
близким предвкушеньем ликования,
отдаленным холодом тоски.

Встретились. Всего-то на мгновенье.
Жизнь их тут же врозь и развела.
Он — в ее потопал направление,
а она — откуда он — пошла.

Ах, не претендуя на пророчество,
но не полагаясь на авось,
с радостным сознанием сотворчества,
я не знаю,
чем у них все кончится,
но уж уверяю:
начавлось!

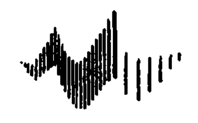


...А катер
следа не оставил.
Сирены коричневый крик
во мраке ночном
растаял
испуганно. Как возник.

И кончились
ты и лето.
И стало всего нужней,
чтоб тихою струйкой света
вплелась хоть минута эта
в нити
косых
дождей.



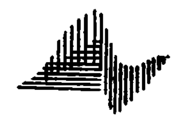
От Спортивной до Аэропорта
с пересадкой
пятьдесят минут.
И обратно столько же.
А сколько
дней,
        недель
                и месяцев
я буду
этот путь вымеривать шагами
в колоколе
комнаты
своей?..



Душа моя,
не будь слепою —
осиротели мы с тобою.

Истаяли, как пар и дым,
друзья былые и подруги,
и вот
        на леденящем круге
теперь уж мы
одни
стоим.

Но прошлое,
что за плечами,
его могучий резонанс —
он есть,
            хоть кажется подчас,
что и вчерашние печали
ушли из нас,
ушли из нас.



Г. В.

Дорога жизни далека,
да короток наш век,
и где она —
твоя рука,
мой близкий человек?

Не в том беда,
что ветер крут,
дорога тяжела,
а в том, что холодно,
мой друг,
без твоего тепла.

На этой скаредной земле,
несущейся во мгле,
и ты, быть может,
без меня —
жилище без огня.

А вдруг...
А может быть,
с одной
из множества планет
уже ты видишь
мой земной
недостижимый свет

и простираешь мне во тьму
призыва полный стих
о том, как сердцу твоему
темно и зябко
одному
у пристаней чужих?

Дорога жизни
далека...
Но вдруг на рубеже
еще тепла
(тепла пока!)
и внеземного холодка
я осознал уже,
что значит смертная тоска
по родственной
душе.

МАСКА

Наш друг невероятен.
Души его стена
туманностей и пятен
фатально
лишена.

В башке ума — палата,
ах, как он говорит!
Волшебный лоб,
как лампа,
над ртом его горит.

И вечно наготове
пиратская строка
сразить на полуслове
юнца
и старика.

Но там,
где двое спорят
всерьез и наповал,—
он сумрачен, как погреб,
и замкнут,
как подвал.

Он черен, словно мина.
А в очи заглянуть —
а очи мимо:
                    мнимо,
как будто мира внутрь.

И кажется,
от сечи
он весь далек-далек.
Глаза осели в плечи
и потушили лоб,

и не сыскать в них чуда.
Вся сжалась
                у стены
бесформенная груда
испуганной
спины.

Но, спором одержимы,
мы зря не видим, как
он стискивает
жилы
в бетонных кулаках,

как пламя,
                растекаясь,
в них светится черно...
О, многого
                покамест
нам видеть
не дано.

Горят под солнцем струны
распахнутых сердец.
Еще мы злы,
                мы юны,
а он уже — мудрец.

Живем —
            кто горячее,
кто чище на просвет!..
Но от него прощенья
уже нам, братцы,
нет.



Уверовав в свою непогрешимость,
друг юности стал скучен и смешон.
В нем все как будто разом завершилось,
и в пня подобье
превратился он.

Большой начальник маленькой опушки,
на лес дерев он смотрит свысока.
И вот уж им, чтоб слышать вожака,
склонять к нему
положено макушки.

Восходит солнце иль густеет мгла —
душе его ни шатко и ни валко...
Сгубила друга
чертова пила!
А — жалко.

ЛОЖЬ ЦЕНА

Неуживчив я стал, ребята.
Сознаю. Понимаю. Но...
Знать, и впрямь
завести мне надо
за душою второе дно

и под ним
хоронить от друга
и влиятельного врага
жажду чести и силу духа,
вечной истины поро́ха.

Но неужто —
скажи на милость,
да хоть в этот раз не юли,—
жизнь действительно
усложнилась,
а не мы ее довели

до воинственного абсурда,
столь удобного болтунам,
и в открытую и подспудно
страх внушившим
себе и нам

перед честностью,
чей острожный
путь и ныне, мол, все тернист?..

Ладно.
Будьте вы осторожней.
Мне ж не надо неправды сложной,
я во лжи
не зело речист.

Вдоль по жизни,
душой наружу,
чтобы видели — нет в ней дна,
и без вас я пройти не струшу.
Ну, а дружба?
Плевать на дружбу,
если дружбе той
ложь
цена!..



Со скрежетом,
с улыбкою
рисуй, ваяй, пиши,
надейся на великое,
а малое
верши.

Во мраке лжи,
тщедушия
и взвешенной любви
заглядывай в грядущее,
а нынешним
живи.

Люби его,
дерзанием
не полнясь привозным,
надеясь на признание,
но не играя
с ним.



А мне опять
в далекие края.
С охапкою картонок и корзинок
в последний день столичного житья
подарки закупаю
в магазинах.

День суетный.
Но в радостной возне
он так непринужденно пролетает,
что только крыльев
не хватает мне.
Ей-богу! Только крыльев
не хватает.

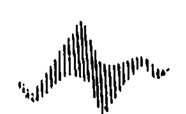
Летит душа.
Да полно-те, окстись!
Но мчат глаза по городу аллюром.
Я взял бы все:
и этих продавщиц,
и станцию метро с ее дежурным,

и ЦУМ, и ГУМ, и гордый МГУ
театры и музейное искусство.
И от того,
что я не все могу,
мне на минуту
делается грустно.

Но усмехнусь. Рукой махну.
Авось!
Будь это все у нас под Магаданом,
мне и летать сюда бы не пришлось,
а возвращаться, стало быть,
подавно.

И кое-что видней издалека.
И есть чему томительно присниться.
И нам она мила уже —
тоска
по югу — там,
по северу — в столице.

Так и живем.
Да что и говорить?
Пока я жив и все на свете смею,
еще я рад,
что в силах одарить
друзей далеких
близостью
своею!



Лежу на семи забубенных ветрах —
спасибо, родная природа!
И гул затухает
в бетонных ногах,
как в море
гудок
парохода...

ЧАСЫ

В общежитии полярном,
битюгами популярном,
вечно шумном, на стене
в полуночной тишине
тихо
тикают часы.

Тишина — на уши давит.
Муха в форточку влетает,
кружится, как бомбовоз.
Ей вмонтированы в хвост,
тихо
тикают часы.

Я молчу. Я напрягаюсь.
Взрыва жду. И чертыхаюсь.
Бомбовоз летит в окно,
а из мрака все равно
тихо
тикают часы.

Ни строки! Чиста бумага.
Спит Высоцкий в глотке мага,
Пугачева, Пьеха, Гот,
спит старательский народ —
только
тикают часы.

Провались ты, наважденье!
Я пишу произведенье.
Я просил бы тишины!..
Но все громче со стены
тихо
тикают часы.

Я взрываюсь. Я взмываю.
Со стены часы срываю.
Точка! Выбросил давно...
Но в крови, как стук в окно,
неотступно и черно
тихо
тикают часы!

РАСТОРГУЕВ

Традиции старательской артели,
в веках вам уваженье и почет!
Любая здесь пылиночка при деле,
малейший болтик
взят на спецучет.

Так у иного «плюшкина» в колхозе,
хоть и не любит их у нас народ,
а он, глядишь,
пороется в навозе —
комбайн соорудит,
а то и вовсе
невиданное что-то соберет.

Что ж,
и моя душа протестовала,
не раз, не два споткнувшись тяжело
о брошенное в россыпях отвалов
бесхозное
народное добро.

И тут уж прав он —
Витька Расторгуев,
таежным перцем уснащавший речь:
— Вот мы у них
движок-то
конфискуем,
а надо б их
к суду еще привлечь!..

Не слывший среди нас за словоблуда,
проевший зубы на семи ветрах,
уж он-то знал,
что нет добра без худа,
и вдоволь видел худа без добра.

Росла на Витьке жидкая щетина,
был Витька тощ, морщинист, пучеглаз.
Ни дать ни взять —
природа подшутила,
сварганив это чудище
для нас.

Ходил он прямо, словно запевала.
Неспешным шагом циркового льва
все камешки ощупывал сперва,
и гордо за отвалы
уплывала
его под ноль,
как булка,
голова.

Но у костра таежного,
за чаем
сидел, не замечая никого,
порою до того непроницаем,
как будто не от мира он сего.

В глухом лесу,
на нижней соцступеньке,
простейший из трудящихся людей,
он, может быть,
подсчитывал копейки,
которые слагают
трудодень.

Он не был жмот.
И глаз его воловий
печалился скорей всего о том,
что мог бы жить и прииск экономней
и меньше гнать
добра в металлолом.

Когда же возвращался Расторгуев
из дум своих к артельному костру,—
дымящуюся,
горькую такую,
в глазах его читали мы тоску.

Не личное стремление к блаженству,
не злые сожаления рвача,
а — истинно:
тоску по совершенству
которого он в жизни не встречал.

Ах, что вы, что вы!
Витька мне не кореш
и для поэмы, знаю, не герой.
Но вот тоску, и боль его, и горечь
в самом себе
я чувствую порой.

И от нее
с трудом себя врачуя,
в статье, в стихе, в письме ли —
всякий раз
не скрою, что отчаянно хочу я,
чтобы она
и вам
передалась!

ИЗЯ ФИШЕР

Прежде чем сдать металл в золотоприемную кассу, старатели сушат его, отдувают шлихи. А собирают золото в пузырьки или капсулы, которыми чаще всего служат стреляные ружейные гильзы.

У Фишера не варит котелок.
Он золото ссыпает в котелок
и долго его сушит в котелке,
висящем на таежном костерке.

Горит, горит веселый костерок,
продрогшего старателя суша,
и жадно греет Изя кисти рук,
поскольку в них
вся Изина душа.

А за спиною Изи — ни души.
Хоть песни пой, хоть «Барыню» пляши, —
на все смолчит,
сурова и строга,
остылая колымская тайга.

У Фишера не варит котелок.
Вот чуть остынет медный котелок,
и золото...
(— Ах, золото? Пардон!..)
он ссыплет вместо пороха в патрон.

Как стар на Изе черный патронташ!
Как сам он стар. Как стар его шалаш.

Как стар у ног утихший костерок
и в головах — остывший котелок.

А звезды в небе —
                          молоды, белы.
Подмигивают:
— Вот же мы, беги!
Оставь Тайгу, Костер и Котелок
и жми сюда,
не чуя рук и ног...

Но он постелет куртку в голова
и с горьким свистом выдохнет слова:
— Кого земля
поила и кормила,
тот из дерьма
не делает
кумира.

ОТШЕЛЬНИК

Гудел огонь в «железке»,
над лесом ветер выл.
А он сидел,
полешки
в печурке шевелил

и, старясь ощутимо,
лишь вслушивался, как
жестокая щетина
восходит на щеках.

Ни ужаса. Ни боли.
Лишь седь над головой —
как брошенное поле
с полынною травой.

Спокойная рубаха
белела на плечах...
А мы искали страха
в расширенных очах,

мы ожидали стона
и злости из-под век...
Но вел себя
достойно
во времени просторном
заблудший
человек.

ДОРОГА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Эв. Бекку

Мы выбирались из тайги.
Четыре дня, четыре ночи
вдоль русла вымерзшей реки
стальные наши
«старики»
едва тащили свои мощи.

Бульдозер — тот же самолет.
На землю глянешь из окошка —
она едва-едва плывет.
И гул такой. Сильней немножко!

И говорил дорогой Бекк:
— Из всех творений недушевных
бульдозер —
это человек!
Зря, что считается
дешевле.

Гляди,
прошли такую даль.
Тебя уж ноги, вон, не носят.
Они ж — не то чтобы медаль,—
пожрать и то, гляди,
не просят!..

Во злобе и навеселе,
перед друзьями и врагами,

в педали
впившийся
ногами,
он восседал,
как перс в седле,
и гневно двигал
рычагами.

В глазах то стужа,
то огонь,
а в горле — колокол авральный!
И гарцевал
железный
конь
под ним,
как самый натуральный.

А я глядел. Четыре дня
глядел, как петли он рисует
(как бы Фортуну колесует!),
пока не понял,
что меня
уже не он интересует,

а эти — гнев и торжество
в его глазах. Искр дерзкий танец.
И тот момент, что вдруг настанет,
когда наш дух
перерастает
самих носителей его.

Когда способны мы внушить
и мысль, и боль, и гнев, и волю
созданию, что нашей болью,

казалось бы, не в силах
жить.

Мы выбирались из тайги.
На сотню верст округ колонны
уже морозы от тоски
чозению и листвяки,
играясь,
        на дрова кололи.

А воздух был и впрямь — горяч.
Туман как бы кипел над лесом.
И зябкий,
        в инее,
                кедрач
железо трогал
с интересом.

Но было что-то
в том пути
средь вековечного покоя
(Прости, редактор,
                Бекк, прости!)
невольничье
и фронтовое.

Усталость вымотала нас,
а стужа сделала печальней.
И тяжко руша снежный наст.
печален был,
как звон кандальный,
железных траков
мерный
лязг.

Печаль глядела из кустов.
Печаль сводила наши лица.
И кто-то сдаться был готов.
Отчаяться.
Остановиться.

Среди зимы.
Среди тайги
с ее бескровными снегами...
Но Бекк
ворочал
рычаги
руками,
как маховиками.

И был его
молчащий рот,
при недоверье общем нашем,
такой иронией страшен,
что скажет слово
и убьет.

Но никого он
не убил.
И в том пути,
поди недаром,
сам командир —
он комиссаром
куда талантливее
был!..

Когда же пятый день вставал
(о, край колымский, заповедный,
где солнце всходит в час обедний!),

мы
   одолели
            перевал
ближайший к дому
и последний.

И у прощального огня,
подсев к старательскому чаю,
вдруг Бекк
с отчаянной печалью
сказал, не глядя на меня:

— Ну вот и дом невдалеке.
А в сердце
радостно, но пусто.
Ведь как ни тяжко
жить в тайге,
а расставаться с нею
грустно...



Рассвет еще нежен и розов,
тайга золотая — свежа.
Но, воздухом хрустким дыша,
в преддверии первых морозов
опять
    леденеет
        душа.



Шквальный ветер. Мокрый снег. Ни фонаря.
Провожаем ночь на третье сентября.

Нету плана. Завалили годовой.
Ну, а главное — зима над головой.

Налетела, навалилась, налегла,
планы спутала, надежды замела.
И пишу я. И качаю головой
над блокнотом в снеговерти круговой.

Я пишу, а буквы плачут — снег идет.
Буквы плачут. Снег валит. А я пишу.
Отвалюсь спиной к лесине, долго на руки дышу
и гляжу, как пар сквозь пальцы улетает в небосвод.

Точно так, поди, и время — день за днем, из года в год
между пальцев человеческих течет себе, течет,
не догонишь, не воротишь и не стиснешь в кулаке, —
оно пляшет и смеется,
словно пламя
в костерке.

Оно пляшет и сгорает,
в мире так заведено:
время памяти не знает — мимолетное оно.
Человек же, хоть не вечен и размерами смешон,—
даром памяти увенчан,

с ее грузом
обручен.

Догорает костерок мой.
Двадцать лет и двадцать зим.
И я думаю с унынием: «Увы,
не согреть мне эту землю
ни дыханием своим,
ни словами
человеческой
любви».

КОГДА-НИБУДЬ

Ах, в пятницу ли,
в среду,
в каком бы ни году
я все-таки уеду,
я все равно уйду.

Оставлю эти снеги
и высь над головой.
Быть может,
не навеки —
сперва на год-другой.

Но приживусь
и вскоре
задумаюсь, как здесь,
над радостью и горем
иных людей и мест.

Такая уж планида
северных людей:
однажды
поклониться
юности своей

и с птичьим караваном
напрячь свои крыла
к тем областям и странам,
где мать нас
родила;

где нас упрямо ждали
и двор, и сад, и дом
и где уж мы
едва ли
ростками прорастем.

Но вдалеке отсюда,
где я пока живу,—
как вымысел,
как чудо,
во сне и наяву

мне видеть вас —
качели
лета и зимы:
метельные апрели,
июньские метели,
пастель и акварели
просторов Колымы.

И все же ярче,
кровней
и в радости лютей
я вспомню, край суровый,
твоих
людей.

Талантливых и слабых —
кто на моих глазах
и восставал
из хляби,
и превратился
в прах.

Все это было,
было.
А впрочем, есть пока.
И я еще уныло
боюсь
«материка»,

отплытия,
отлета,
прощания с тобой,
пока моя работа
не «нечто»
и не «что-то»,
а до седьмого пота —
работа
и
любовь!



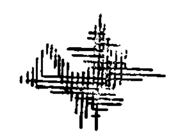
Прощание
неотдалимо.
Сужается
окоем.
Дозрев, пламенеет малина
на склонах
в распадке моем,

где сам я когда-то,
колючий,
владетель восторженных крыл,
свой первый старательский ключик
для рук неуемных
открыл.

Аукнулась,
но не вернулась,
лишь пламенем память ожгла
уже невозвратная юность.
Спасибо, сестра,
что была,

что за руку властно водила,
владела душой и умом,
пока удивленье и диво
во мне не окрепли
самом.

Обветрилась
и обгорела
душа от бессчетных потерь,
но что в ней еще не дозрело,
само уж дозреет
теперь.



Страницы дней перебирая,
листая их за годом год,
вдруг понял я,
что жил — играя,
что шел, путей не разбирая,
и сердце билось,
обмирая
от умозрительных высот.

Осознавая личный опыт,
достал я истину со дна:
хорош он тем,
что лично добыт,
что неразменен он, должно быть,
а плох —
что грош ему цена!

Какой еще юнец-галчонок
по жизни ринется спросонок,
роняя перья на лету,
и, сбитый ею ненароком,
не удовольствуясь уроком,
опять рванется
в высоту?

Еще не верю я,
что в мире,
где дважды два — не есть четыре,

чтобы до берега доплыть,—
не сыщется
ни человека,
чтобы глаза ему на это
заблаговременно открыть.
Не может быть,
не может
быть.



Представлю зимнюю Россию,
ее просторные снега —
любую боль в себе осилю.
А как черна и глубока

она казалась перед этим
всего за час, за день, за год?..
И вдруг
невыразимым светом
тебя по маковку зальет.

И распахнется даль. И — близость
откроется за словом «век»,
в котором ты уже
не «личность»,
а — больше:
                русский человек.

С лицом красавца иль урода,
с судьбою частного лица,—
к великой участи народа
причастный кровно.
До конца.

Одна —
для милых и немилых —
она в руках
народных масс.

Ни изменить ее не в силах,
ни отменить —
никто из нас.

И лишь понять,
и лишь возвысить
ее трудом среди людей
зависит
                или НЕ зависит
от воли собственной твоей.

ПЕСНЯ ИДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Летит Земля. Текут, бегут года.
Спешит по свету человек идущий.
Спроси его:
«Товарищ, эй, куда?!»
— В грядущее,— ответит.— В день грядущий.

«Настигнешь ли?»
— Надеюсь. Ничего!
Зато я вижу
впереди
его.

«Давно ль идешь и много ли прошел?»
— Не мало. На судьбу не обижаюсь.
Не поручусь,
что шел лишь хорошо,
но в том, что шел,—
ни капельки не каюсь.

Пойдешь со мной?..
«А что?..»
— Да ничего,—
в пути себя
познаешь самого.

Искать себя.
Найти себя. Понять.
Определить во времени летящем
и с ним себя до капли передать

грядущему,
оставшись в настоящем,—

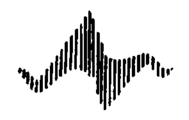
вот истина, а выбыл — ничего.
Ты вечен
в сердце друга
своего.

Ведь все,
чем ты воистину богат,
есть ты да я, да мы с тобою, брат,
да пара не заезженных вконец
нам приданных,
нам преданных сердец.

Мы есть — спасибо. Выйдем — ничего.
Придут другие,
только и всего.

Лишь были б те,
другие,
лучше нас
по той простой хотя бы уж причине,
что прочности повышенный запас
необходим
идущему
мужчине.

А ты в себе
несешь запас
чего?
Даешь ли веку,
грабишь ли
его?!



Окончен путь. У голых скал
корабль мой — дрова!
Затихнул шторм. Последний вал
уж различим едва.

Вступил в права большой отлив,
а час утра́ — далек.
Все хорошо. Я снова жив,
лишь чуточку продрог.

Я жив опять. И на простор
полей, и рек, и гор
осталось выпустить слова,
как птиц
из рукава.

СОДЕРЖАНИЕ

«Волшебных слов невинная игра...» 5
«Реки таежной шорох тихий...» 6
«Как свободно, как просторно стало разом на земле...» 8
«Позади — дорога дальняя...» 9
«Я задую в тайге небольшой костерок...» . . . 11
Костер 12
«В горах, за тридевять земель...» 14
«Тружусь, усталости не зная...» 15
Строка 17
Рабочий день 18
«...Но так же, как из года в год...» 20
«Не ходи тропой лесною...» 21
«Я жил безоглядно и юно...» 23
Кризис 25
«Всеядны, мелочны, капризны...» 26
«Лоснясь от антикомарина...» 27
На острове заледенелом 28
«Заметелит снег дороги...» 30
Буря 31
«Над лесом сгущаются тишь и мгла...» . . . 33
«Первый снег и дым костра...» 34
«К твоему прислоняясь плечу...» 35
«Просыпаюсь, как ранняя птица...» 36
«Песня без имени-отчества...» 37
«Трудиться ль устала природа...» 38
«Милая меня не понимает...» 39
«Уйдешь — и я едва дышу...» 40

«Мы с тобой живем, как на вокзале...» 41
«Ты от стаи не отбилась, не ушла...» 42
«Я б описал свою любовь...» 43
«Падает снег. Тает...» 44
«То снег, то дождь. Тайга. Трясина...» 46
«Когда б тревога улеглась...» 47
Закрытый поворот 48
«Чтоб от счастья засияло...» 51
«О незабвенный Брут!..» 52
«В том городе, где столько неуюта...» 53
«Остынет август. Лето отойдет...» 54
«Где б ни жил я, в краю каком...» 56
«В этом крохотном доме...» 58
Урок доверия 61
Сверстникам 63
«В столичном чинном ресторане...» 65
«На излете ли, в зените...» 67
Тревога 69
«Вот построили здание...» 70
«Меня забыли те глаза...» 72
Не позови 73
Встреча. *Фрагмент* 74
В высотном здании твоем 77
«Ты со мной говори откровенно...» 79
«Стройна, лукава, шаловлива...» 80
«Встретились. И замерли. И вздрогнули...» . . . 81
«...А катер следа не оставил...» 82
«От Спортивной до Аэропорта...» 83
«Душа моя, не будь слепою...» 84
«Дорога жизни далека...» 85
Маска 87
«Уверовав в свою непогрешимость...» 90
Ложь цена 91
«Со скрежетом, с улыбкою...» 93

«А мне опять в далекие края...» 94
«Лежу на семи забубенных ветрах...» 96
Часы 97
Расторгуев 99
Изя Фишер 102
Отшельник 104
Дорога с председателем 105
«Рассвет еще нежен и розов...» 110
«Шквальный ветер. Мокрый снег. Ни фонаря...» . . 111
Когда-нибудь 113
«Прощание неотдалимо...» 116
«Страницы дней перебирая...» 118
«Представлю зимнюю Россию...» 120
Песня идущего человека 122
«Окончен путь. У голых скал...» 124

Пчелкин А. А.

П92 Душа болит: Книга стихов.— Магадан: Кн. изд-во, 1979.—127 с.

40 к.

Новая книга стихов известного магаданского поэта—поэтические раздумья об окружающем мире, утверждение высоких нравственных идеалов.

П $\frac{0742-020}{М-149(03)-79}$ 18—79

ББК 84. 3Р7
Р2

Анатолий Александрович Пчелкин

ДУША БОЛИТ

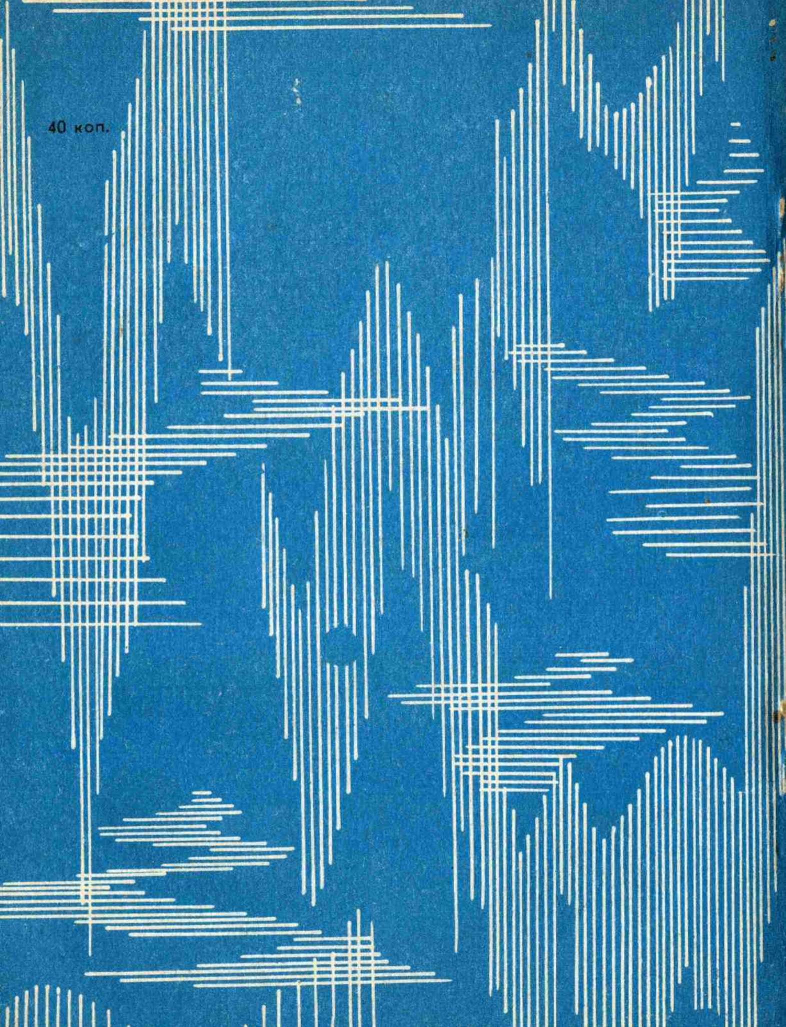
Книга стихов

Редактор **В. И. Першин**
Художник **М. В. Кашичкина**
Художественный редактор **Д. Д. Власенко**
Технический редактор **В. В. Плоская.** Корректор **Г. А. Козеева**

ИБ 00175

Сдано в набор 13. 03. 79 г. Подписано к печати 12. 06. 79 г. АХ—00154 Формат 70×108/32. Бум. тип. № 1. Обыкновенная новая гарн. Высокая печать. Объем 5,6 усл. п. л., 3,74 уч-изд. л. Тираж 5000. Заказ 500. Цена 40 коп.

Магаданское книжное издательство, 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 15
Областная типография Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Магаданского облисполкома, Магадан, пл. Горького, 9.


40 коп.